НЕНУЖНЫЕ

Триптих (Вертинский, Цветаева, Шагал)

Вертинский

*На сцене – актер, одетый в костюм Пьеро, с грубым гримом.*

Что я помню о времени, когда мне пришлось покинуть Россию? В памяти остались одни обрывки, клочки минувшего, обрезки и остатки. Ну что ж. Ведь из лоскутков можно сшить, например, одеяло. Или даже ковёр! Правда, он будет пёстрым, но и вся жизнь моя была пестра. Приукрашать и облагораживать прошлое, подгонять то, что сберегла память, под сегодняшние уже зрелые взгляды и понятия мои мне не хочется. Итак, начну…

Февральская революция многих обрадовала, многих огорчила, но поразила всех, а иных как‑то выбила из колеи. Но на нас, богему, эта революция не повлияла никак. Как будто её и не было. Пооткрывались новые кафе, «Питерск» на Кузнецком и «Кафе поэтов» в Настасьинском.

А я в это время стал «знаменитостью» на московском горизонте и жалобно мурлыкал свои «ариетки» в костюме и гриме Пьеро. От страха перед публикой, боясь своего лица, я делал сильно условный грим: свинцовые белила, тушь, ярко-красный рот. Чтобы спрятать своё смущение и робость, я пел в таинственном «лунном» полумраке. Впечатлительный и падкий на романтику женский пол принимал меня чрезмерно восторженно, забрасывая цветами. Мне уже приходилось уходить из театра через чёрный ход. Что их так трогало во мне?

Прежде всего наличие в каждой песенке того или иного сюжета. Помню, я сидел на концерте Собинова и думал: «Вот поёт соловей русской оперной сцены… А о чем он поёт? Розы-грёзы. Опять розы. Соловей — аллей. До каких пор? Ведь это уже стёртые слова! Они уже ничего не говорят ни уму, ни сердцу».

И я стал писать песенки-новеллы, где был прежде всего сюжет. Содержание. Действие, которое развивается и приходит к естественному финалу. Я рассказывал какую‑нибудь историю вроде «Безноженьки» — девочки-калеки, которая спит на кладбище «между лохматых могил» и видит, как «добрый и ласковый боженька» приклеил ей во сне «ноги — большие и новые»… Я пел о «Кокаинетке» — одинокой, заброшенной девочке с «мокрых бульваров Москвы», о женщине в «пыльном маленьком городе», где «балов не бывало», которая всю жизнь мечтала о Версале, о «мёртвом принце», «о балах, о пажах, вереницах карет». И вот однажды она получила дивное платье из Парижа, которое, увы, некуда было надеть и которое ей наконец надели, когда она умерла! И так далее…

У меня были «Жамэ», «Минуточка», «Бал господен», «Креольчик», «Лиловый негр», «Оловянное сердце»… Одну за другой постепенно создавал я свои песни. А публика, не подозревавшая, что обо всем этом можно петь, слушала их с вниманием, интересом и сочувствием. Очевидно, я попал в точку.

Я выступал в различных театрах миниатюр и наконец снова водворился в своём милом «Театре сольных выступлений» в Петровских линиях. Он прочно завоевал московскую публику, и попасть на представления было трудно. Эти выступления в «миниатюрах», в общей программе, не удовлетворяли меня, хотя я и был главным гастролёром. Мне хотелось чего‑то большего, но все же я продолжал петь. В сущности, это был мой первый серьёзный театральный сезон. Был октябрь 17‑го года. Дирекция решила дать мне бенефис. По странному стечению обстоятельств, назначен он был на роковую для России дату – 25 октября. Если хотите проверить мои слова, пойдите в Ленинскую библиотеку и просмотрите газеты за этот день — 25 октября 1917 года. И вы увидите, что во всех газетах в этот день были большие объявления: «Бенефис Вертинского».

Билеты были распроданы за один час. Начался вечер. Москва буквально задарила меня! Все фойе было уставлено цветами и подарками.

После бенефиса, в первом часу ночи я поехал домой на извозчике.

Доехав до Страстного, я вдруг отчётливо услыхал звуки выстрелов. Начиналась революция. На этот раз настоящая.

— Слезай, барин. Дальше не поедем. Стреляют.

И я пошел домой пешком.

Мог ли я тогда подумать, какую страшную, кровавую неделю возвещают моему любимому городу эти ночные выстрелы! Москву лихорадило: получившие из Петербурга телеграмму о взятии под стражу Временного правительства и установления контроля над городом, большевики захватили Кремль, главный телеграф, телефонную станцию и почту. И единственной силой, осмелившейся выступить против них оказались безусые мальчишки-юнкера, сохранившие до конца верность февральской революции. Они отбили у превосходящего их по численности противника все средства связи и выбили большевиков из Кремля. Но против вооруженных винтовками юнкеров красные применили артиллерию. В одну неделю все было кончено. Их хоронили на Московском братском кладбище. Триста юных жизней унесло с собою это ужасное восстание в Москве. Я присутствовал на похоронах, а потом, в память об этих бесстрашных мальчишках написал песню (поет):

Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!

Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искаженным лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным кольцом.

Закидали их елками, замесили их грязью
И пошли по домам — под шумок толковать,
Что пора положить бы уж конец безобразью,
Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать.

И никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги — это только ступени
В бесконечные пропасти — к недоступной Весне!

Однажды, исполняя ее на одном из своих концертов, я заметил среди публики одного человека, сверлившего меня холодным, пристальным взглядом. После концерта он, в сопровождении двух красноармейцев, зашел ко мне в гримерку и голосом, не допускавшим возражения, приказал следовать за собой. Так я оказался в чрезвычайной комиссии. Там, все тот же человек со взглядом змеи, велел мне дать объяснение своей гражданской позиции. Я воскликнул: «Это же просто песня, и потом, вы же не можете запретить мне их жалеть!» До сих пор без дрожи не могу вспомнить, как глядя мне прямо в глаза своим тяжелым, немигающим взглядом он медленно и отчетливо произнес: «Надо будет, и дышать запретим!».

И я понял – надо валить!

Берет пару больших чемоданов, и медленно, неохотно уходит.

Цветаева

*Комната Цветаевой в Добровольском переулке, 6. Раскрытый чемодан посреди комнаты, Цветаева за столом, пишет.*

Милый Сереженька!

Завтра вместе с Алей выезжаем к Вам с Виндавского вокзала. Сейчас уже два ночи, Аля давно спит, а я сижу за своим старым, милым столом и пишу Вам это глупое письмо. Глупое, потому что писать его нет никакого смысла, ведь не дойдет же оно до Вас раньше, чем мы сами встретимся в Берлине. А вот нет! Ничего не могу с собой поделать – душа томится, рвется и хочется говорить с Вами прямо здесь, сейчас, в моей обожаемой комнате с одиннадцатью углами…

Если б Вы знали, обожаемый Лев, в какой звериной тоске, в каком непреходящем ужасе я прожила все эти годы, что от Вас не было известий. Вчера разбирала свои бумаги и наткнулась на письмо, которое писала Вам пять лет назад. Вот оно:

«Сереженька.

Я написала Ваше имя и не могу писать дальше. Горло сжато, точно пальцами. Все время оттягиваю, растягиваю ворот.

Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидеться, — слушайте: Если Бог сделает это чудо — оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака».

Сегодня я приписала на нем карандашом: «И вот, еду, как собака».

Лёвашенька, я думала, что Вы убиты. И вот – нечаянная радость! Приходит Эренбург и преподносит мне Ваше письмо из Праги! Вы – живы! Вы учитесь в университете! Я читала, и не верила! Ах, если б Вы знали, каким божественным, каким целебным нектаром изливались Ваши строки на мое измученное сердце. Я помню каждое слово, каждую букву Вашего чудесного письма:

«Мой милый друг, Мариночка, сегодня получил письмо от Ильи Эренбурга, что вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости. Что мне писать Вам? С чего начать? Нужно Вам сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни. Живите! Я ничего от Вас не буду требовать — мне ничего не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы. Берегите себя, заклинаю Вас... Храни Вас Бог. Ваш Сергей».

- Ехать! Немедленно ехать к Вам! – вот единственное мое желание с той самой минуты, как я прочла его. Но как? Необходимо разрешение… Нужно собирать какие-то загадочные бумаги, кого-то просить, бегать в какие-то непонятные конторы. Все это совершенно не мое! Вы же знаете, я абсолютно не разбираюсь в этих делах. И все-таки я бегала, просила, собирала… А еще ведь нужно было приводить в порядок свой архив, переписывать набело рукописи, распродавать вещи. На всю эту невообразимую суету ушел почти год. И все мне кругом твердили, что дело это невозможное, немыслимое и никакого разрешения мне не видать. Но вдруг – чудеснейшая новость: Германия с Россией восстанавливают дипломатические отношения! О, радость! Счастье! Заветное разрешение на выезд получено!

Сегодня целый день собирали в поездку вещи. Уложились в один чемодан. Я все никак не могла сообразить, что взять с собой в первую очередь. В конце концов сунула в чемодан карандашницу, чернильницу, тарелку со львом – Вы помните ее, правда? - подстаканник, Алин портрет, швейную коробку и янтарное ожерелье. Аля оказалась намного практичнее меня – она озаботилась прихватить с собой валенки, сапоги, кофейник и примус. Подумать только – примус! Мне бы и в голову не пришло вспомнить о примусе. Все мои мысли об одном – завтра, завтра мы покинем наш «дом-корабль» на Добровольском! Мне кажется, Лувенька, он уже предчувствует разлуку – то вдруг жалобно, до дрожи в сердце, скрипнет дверью, то скорбно вздохнет. И то сказать - восемь лет мы были вместе. Восемь лет! Целая жизнь. Вернее, две жизни. Первая – наполненная бесконечным счастьем, стихами, легкая и звонкая. И вторая – без Вас, полная отчаяния, тоски, голода и холода. Мы научились любить: хлеб, огонь, дерево, солнце, сон, час свободного времени, - еда стала трапезной, потому что Голод... сон стал блаженством, потому что «больше сил моих нету», мелочи быта возвысились до обряда, всё стало насущным, стихийным. И все-таки, все-таки… несмотря на насущную необходимость выносить помойные ведра, стоять в очереди за воблой, и - стирать – стирать – стирать! – все время страстное желание писать стихи. Ночами, в промерзшем насквозь доме, я, как одержимая исписывала ими тетрадь за тетрадью. А если не было под рукою бумаги – писала прямо так, на стенах.

Сереженька, в апреле написала поэму «Переулочки». Передала Алексею Александровичу Подгаецкому-Чаброву. Обещал опубликовать ее в сборнике. Эта поэма - мое прощание с Москвой. Приведу Вам отрывочек, рукопись прочтете сами, в Берлине. Я привезу ее Вам в подарок.

Во останный во разочек

Затянись, замри!

То последний ветерочек

С аржаной земли:

Горбы, бороды, да борозды,

Да зеленя.

Дух навозенный, забористый,

— Моя земля!

Lou, завтра начинается новая, неизвестная, загадочная моя жизнь, надо бы серьезно подумать о ней, а меж тем мысли мои неизменно возвращаются в тот судьбоносный день - восемнадцатого мая тысяча девятьсот одиннадцатого, когда Вы приехали в Коктебель. Помните, я искала на берегу моря красивые камни, Вы подошли и начали мне помогать. Я загадала тогда: «Если он найдет и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж». И – свершилось! Судьбой было предопределено, чтобы мы всегда были вместе. Мы никогда не расстанемся. Наша встреча – чудо! Скоро, скоро я увижу Вас снова и ничто, ничто на свете не разлучит нас уже вовеки.

  Лува, иду спать. За окном уже светает, надо хоть немного вздремнуть перед поездкой. Спокойной ночи, Сереженька, нежно Вас целую, будьте здоровы.

*Заканчивает писать, выключает лампу.*

Шагал

Почему я покинул Россию?

Полно, Россию ли я покинул? В общем-то я ее плохо знал.

Да и не видел. Новгород, Ростов, Киев — где они и какие?

Нет, правда, где?

Я всего-то и видел Петроград, Москву, местечко Лиозно да Витебск.

Витебск! Мой грустный и веселый город!

Ребенком, несмышленышем, глядел я на тебя с нашего порога. И ты весь открывался мне. Если мешал забор, я вставал на приступочку. Если и так было не видно, залезал на крышу. И смотрел на тебя сколько хотел.

Бедный, захолустный городишко, где десятки, сотни синагог, мясных лавок, прохожих.

Разве это Россия?

Это только мой родной город.

Помню, как однажды ко мне пришел в гости приятель. Обозрев картинки на стенах, он воскликнул:

— Слушай, да ты настоящий художник!

Слово «художник» было таким диковинным, книжным, будто залетевшим из другого мира, — может, оно мне и попадалось, но в нашем городке его никто и никогда не произносил. Это что-то такое далекое от нас! И сам я никогда бы на него не натолкнулся. Но в тот момент всем своим существом я понял: «Жребий брошен. Я должен стать художником».

«Школа живописи и рисунка художника Пэна» в Витебске, пьянящий чудесный запах холста и красок. Повсюду висят портреты. Мастерская набита картинами, сверху донизу. Здесь я пишу свои первые этюды: домики, фонари, водовозы, цепочки путников на холмах.  Кисть проворно порхает по холсту, а теснящие душу мысли и чувства изливаются молитвой:

«Господи, Ты, что прячешься в облаках или за домом сапожника, сделай так, чтобы проявилась моя душа, бедная душа заикающегося мальчишки. Яви мне мой путь. Я не хочу быть похожим на других, я хочу видеть мир по-своему».

 И в ответ город лопался, как скрипичная струна, а люди, покинув обычные места, принимались ходить над землей. Мои знакомые присаживались отдохнуть на кровли.

Краски смешиваются, превращаются в вино, и оно пенится на моих холстах.

Что было потом? Петербург, Париж… Годы учебы, поиска своего пути, разочарований и отчаяния. Я хотел одного – писать! Писать, причем не так, как все. А как? Даст ли мне Бог, или уж не знаю кто, силу оживить картины моим собственным дыханием, вложить в них мою мольбу и тоску, мольбу о спасении, о возрождении?

Как-то в Париже, перед самой войной, и ко мне в мастерскую зашел Луначарский. Он тогда писал в газеты и пришел взглянуть на мои картины, чтобы написать какую-то статейку.

Я сразу понял, что мое искусство не подходит ему ни с какого боку.

Но в 1919 именно он предложил мне стать директором Школы Искусств в моем родном Витебске.

И вот вокруг меня туча учеников, юнцов, из которых я намерен делать гениев. Всеми правдами и неправдами ищу средства, выбиваю деньги, краски, кисти и прочее. Лезу из кожи вон, чтобы освободить учеников от военного набора.

Каждого, кто изъявлял желание у меня работать, я тотчас великодушно зачислял в преподаватели. И один из них в конце концов выжил меня из школы. Не знаю уж, чем он их так увлек, но мои ученики один за другим покинули меня ради его мистического «супрематизма».

Однажды, когда я в очередной раз уехал доставать для школы хлеб, краски и деньги, мои учителя подняли бунт, в который втянули и учеников.

И вот те, кого я пригрел, кому дал работу и кусок хлеба, постановили выгнать меня из школы. Мне надлежало покинуть ее стены в двадцать четыре часа.

На том деятельность их и кончилась.

Присвоив все имущество академии, они бросили школу и учеников на произвол судьбы и разбежались.

Не бойтесь, я не стану поминать вас недобрым словом.

И не хочу, чтобы вы вспоминали обо мне.

Если несколько лет, в ущерб своей работе, я трудился на благо общества, то не ради вас, а ради моего города, ради покоящихся в этой земле родителей.

Я уехал в Москву. Носил широкие штаны и желтый пыльник, ходил, как все, на собрания. Собраний было много. Театральное собрание, собрание поэтов, собрание художников.

На собрании поэтов громче всех кричал Маяковский.

Друзьями мы не были, хотя Маяковский и преподнес мне одну свою книгу с дарственной надписью: «Дай Бог, чтобы каждый шагал, как Шагал».

Он чувствовал, что мне претят его вопли и плевки в лицо публике.

Зачем поэзии столько шуму?

Мне больше нравился Есенин, с его неотразимой белозубой улыбкой.

Он тоже кричал, опьяненный не вином, а божественным наитием. Со слезами на глазах он тоже бил кулаком, но не по столу, а себя в грудь, и оплевывал сам себя, а не других.

Есенин приветственно махал мне рукой.

Возможно, поэзия его несовершенна, но после Блока это единственный в России крик души.

А что делать на собрании художников?

Там вчерашние ученики, бывшие друзья и соседи заправляли искусством России.

На меня они смотрели с опаской и жалостью.

Но я закаялся — ни на что больше не претендую, да меня и не зовут преподавать.

Будь я чуть понахальнее, я бы добился для себя хоть каких-нибудь льгот, как другие.

Но я заика. Вечно робею.

Нашел клетушку с черного хода. Там сыро. Сырые даже одеяла в постели. Желтеют картины. По стенам сползают капли. Я не жаловался. Меня все устраивало. Чем плохо? Пусто и радостно.

В конце концов я разгулялся на стенах и потолке одного из московских театров.

Мне предложили расписать стены в зрительном зале и исполнить декорации для первого спектакля.

И я кинулся к стенам.

Полтора месяца, как одержимый, лежа на полу, среди опилок, огрызков и окурков, я писал эскизы декораций, костюмов, стенных панно…

Но, наш роман с Грановским, как он говорил, не получился…

За панно, сделанные для театра, мне так и не заплатили. Два года я провел в приемных Наркомпроса, пытаясь добиться оплаты если не по «первой категории», чего без особого труда добивались мои более практичные собратья, то хотя бы по минимуму и в итоге получил… воспаление легких.

Мне предложили учительствовать в детской колонии. Там тоже не платили, но по крайней мере предоставляли еду и кров.  В таких колониях жило человек по пятьдесят сирот. И вот они передо мной. И вот их-то я учил рисованию. Я полюбил их. Как жадно они рисовали! Набрасывались на краски, как звери на мясо. Я не уставал восхищаться их рисунками, их вдохновенным лепетом — до тех пор, пока нам не пришлось расстаться. Что-то инстинктивно подталкивало меня, звало в путь, в неведомое.

Хватит, не хочу быть ни учителем, ни директором.

Хочу писать картины.

Я оглядываюсь кругом и громко кричу: разве вы не замечаете, что мы уже вступили на помост бойни и вот-вот включат ток?

И не оправдываются ли мои предчувствия: мы ведь в полном смысле слова висим в воздухе, всем нам не хватает опоры?

Наверное, кто-то там, наверху, наконец услышал мои молитвы. Мне посчастливилось организовать выставку в Литве.

Я уезжаю… Последние пять лет жгут мою душу.

Я похудел. Наголодался. Я устал.

Я соскучился по вам, Берлин и Париж.

 Еду к вам насовсем.

И, может быть, вслед за Европой, меня полюбит моя Россия.